

The image is a book cover for 'The Dragon's Bride' by Sergey Patrushev. It features a man in ornate, dark armor with a sword at his waist, embracing a woman in a long, flowing white gown. They are standing in a dark, rocky landscape with fire and smoke in the background. A large, scaly dragon is visible in the upper right corner, its head and wings partially shown. The title 'Невеста дракона' is written in large, white, serif font at the bottom, and the author's name 'Сергей Патрушев' is at the top.

Сергей Патрушев

Невеста дракона

Сергей Патрушев

Невеста дракона

<https://litres.ru/74285022>

SelfPub; 2026

Аннотация

Юная Лиана, дочь обедневшего барона, по жребии становится невестой древнего дракона, живущего на Хрустальной горе. Для неё это не честь а замаскированная казнь, но в парящем среди облаков замке, полном магии и призрачных слуг, она встречает не чудовище, а Кайрана - властного и язвительного владыку, скрывающего под маской равнодушия, древнее проклятие и вечное одиночество.

Осторожное любопытство перерастает в чувство, когда Империя разрывает договор и посылает охотников, чтобы уничтожить дракона. Лиане предстоит сделать выбор: бежать, спасая себя или добровольно отдать дракону часть своей души, исцелив его Тьму ценой человеческой природы. История о любви, что сильнее страха и о хрупкой девушке, ставшей мостом между двумя мирами.

Содержание

Глава 1. Дар без выбора	4
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Невеста дракона

Глава 1. Дар без выбора

В тот год весна в долину Трёх Колоколов пришла обманчиво рано, словно сама природа решила притвориться, будто ничего страшного не происходит и мир все еще вращается по старым, добрым, предсказуемым законам. Снег сошел с холмов уже к середине месяца Пробуждения, на целых две недели раньше обычного, обнажив жухлую, перезимовавшую траву и серые проплешины каменистой почвы. Почти сразу же, будто только и ждали этого сигнала, полезли из земли первоцветы — белые и бледно-желтые звездочки, такие хрупкие на вид, что, казалось, тронь их пальцем, и они рассыплются в пыль. Воздух наполнился тем особенным, влажным и сладковатым запахом, какой бывает только ранней весной, когда земля еще помнит прикосновение снега, но уже грезит о летнем тепле. Мадерское солнце, названное так в честь древнего бога плодородия, чей культ давно забылся, а имя осталось лишь в крестьянских поговорках, поднималось над восточными отрогами все раньше и задерживалось на небосклоне все дольше, заливая долину мягким золотистым светом, от которого даже убогие хижины и покосившиеся заборы начинали казаться частью какого-то пас-

торального полотна.

Но вместе с теплом и первоцветами в долину пришло и нечто иное — темное, ползучее, почти осязаемое, как дым от сырых дров, который стелется по земле, не в силах подняться к небу, и забивается в каждую щель, в каждую складку одежды, пропитывая все вокруг едкой горечью. Это был страх. Тихий, глубинный, еще не высказанный вслух, но уже поселившийся в сердцах людей, — страх, который приносят с собой не столько сами бедствия, сколько предчувствие бедствий, то гнетущее ожидание неминуемой грозы, когда небо еще чисто, но воздух уже сгустился и потяжелел, а где-то за горизонтом погромыхивает далекий гром. Слухи о поражении королевской армии у Железного брода докатились до самых дальних феодалов, до этих богом забытых мест, где новости обычно приходили с опозданием в несколько месяцев и, как правило, уже не имели никакого значения для тех, кто их получал. Но на этот раз вести летели быстрее ветра — их несли беженцы, бредущие по дорогам с узлами на плечах и с тем особенным, пустым выражением глаз, какое бывает у людей, потерявших все; их шепотом передавали купцы на редких еще ярмарках; их выкрикивали глашатаи на площадях уездных городов, срывая голоса. И даже здесь, в захолустном баронстве Эшвуд, где самыми громкими событиями испокон веку считались свадьба мельника, осенняя ярмарка или, на худой конец, пропажа двух овец из стада старосты,

воздух вдруг сделался густым и горьковатым на вкус, а люди начали оглядываться через плечо, сами не зная, чего ищут взглядом.

Лиана стояла на крепостной стене старого замка, кутаясь в поношенную шерстяную шаль, которая когда-то, много зим назад, была темно-синей с вышитыми по краю серебряными лилиями, а теперь выцвела до неопределенного серо-голубого оттенка, и серебро ниток давно облупилось, оставив лишь бледный след узора. Шаль эта досталась ей от матери, и Лиана носила ее почти не снимая, не только потому, что другой теплой одежды у нее, по правде сказать, почти не водилось, но и потому, что грубая шерсть, касаясь щеки, напоминала ей о том смутном, полустертом воспоминании, которое она берегла как самую большую драгоценность: о материнских руках, о теплом запахе лаванды и молока, о тихом голосе, напевавшем колыбельную. Мать умерла, когда Лиане не исполнилось и двух лет, и воспоминание это было, скорее всего, воображаемым, сотканным из обрывков чужих рассказов и собственных грез, но оттого оно не становилось менее дорогим.

Она смотрела на дорогу, петляющую среди холмов, — ту самую дорогу, которая связывала Эшвуд с остальным миром, сначала узкой лентой серого гравия спускаясь к реке, потом пересекая старый каменный мост, построенный еще при де-

де нынешнего короля, потом взбираясь на гребень дальнего холма, где темнела полоска леса, и, наконец, исчезая из виду где-то за горизонтом, в той неведомой дали, где, по уверениям старого деревенского священника, лежали большие города с башнями из белого камня и гавани, полные кораблей. Дорога была пуста. Вот уже третью неделю ни один купеческий обоз не поднимался к воротам замка, ни один гонец не показывался из-за поворота, ни один странник, бредущий от деревни к деревне с посохом и котомкой, не нарушал своим появлением однообразного пейзажа. Даже птицы, казалось, облетали Эшвуд стороной — то ли напуганные чем-то, то ли просто разделяя общее настроение запустения и тревоги. Ветра не было, и тишина звенела в ушах — та особенная, глубокая, почти неестественная тишина, которая не успокаивает, а, напротив, заставляет напрягаться, вслушиваться, ждать чего-то, что должно неминуемо разорвать эту звенящую пустоту. Тишину нарушало лишь редкое, ленивое карканье воронья над старой башней, где когда-то размещалась голубятня, давно разоренная ястребом. Вороны облюбовали полуразрушенную кровлю и теперь сидели там, нахохлившись, похожие на черных идолов, и время от времени перекликались хрипылыми, скрипучими голосами, словно обсуждая что-то, ведомое только им одним.

Лиане только-только исполнилось девятнадцать. По местным меркам — возраст почти стародевичий, хотя сама она не

слишком об этом тревожилась, во всяком случае, куда меньше, чем следовало бы, по мнению кухарки Марты (не родственницы, просто тезки старшей сестры), которая при каждой возможности принималась причитать, что «девка в самом соку, а все без мужа, и добро бы красавицей не уродилась, так ведь нет — и лицом пригожа, и статью, и руками работать умеет, а толку-то». Лиана и вправду не была дурнушкой: у нее были темные, почти черные волосы, густые и тяжелые, которые она обычно заплетала в простую косу, перекидывая через плечо; глаза странного, переменчивого цвета — не то серые, не то зеленые, а в ином освещении отливающие голубизной, как вода в глубоком колодце; высокие скулы и упрямый, чуть вздернутый подбородок, который старый барон в редкие минуты бодрости называл «породой» и говорил, что он достался ей от прабабки-северянки, слывшей когда-то первой красавицей к северу от Перевала. Росту Лиана была среднего, сложения скорее тонкого, но не хрупкого — жизнь в обедневшем замке, где слуг было раз-два и обчелся, приучила ее к труду, и она умела и воды натаскать, и печь растопить, и даже, если потребуется, оседлать лошадь без посторонней помощи.

Она была младшей дочерью барона Олдрика Эшвудского, который владел землями, едва способными прокормить три десятка крестьянских дворов да стадо тощих овец, чья шерсть годилась разве что на грубую пряжу. Титул барона

звучал гордо, но звонкой монеты в фамильных сундуках не водилось уже давно — с тех самых пор, как прадед, человек широкой души и узкого ума, проиграл в кости большую часть родового состояния какому-то заезжему графу из южных земель. С тех пор Эшвудский род медленно, но неуклонно беднел, и каждый следующий барон добавлял к этому упадку свою лепту: дед слишком много тратил на книги и алхимические опыты, отец — на вино и бесплодные попытки отсудить потерянные земли обратно. Каменные стены родового гнезда пошли трещинами еще при деде, и теперь в трещинах этих свистел ветер, а зимой в углах спален нарастал иней. Ковры, когда-то привезенные из далеких восточных стран, протерлись до основы, и узоры на них можно было угадать лишь по редким сохранившимся нитям. Серебряные канделябры, фамильное столовое серебро, даже портрет легендарной прабабки-северянки в тяжелой золоченой раме — все было продано много зим назад в обмен на зерно, соль и ткани. Остались только голые стены, несколько расшатанных стульев в пиршественном зале, где никаких пиров не устраивали уже лет десять, да гордость. Гордость, гербовая печать на пергаменте, хранящаяся в резной шкатулке, которую барон ни за что не соглашался продать, и дочери. Три дочери — единственное богатство, которое у него не могли отнять ни карточные долги прадеда, ни королевские налоги, ни алчность соседей.

Марту, старшую, выдали замуж четыре года назад за такого же нищего землевладельца из северного удела. Тот хотя бы имел каменную мельницу и два яблоневых сада, дававших кислые, но съедобные плоды, из которых его экономка гнала мутный сидр. Марта уехала на север, и с тех пор от нее приходило одно письмо в год, короткое и сухое, как отчет: живы, здоровы, урожай плох, муж хворает, молитесь за нас. Изель, средней, повезло больше — по крайней мере, так говорили все вокруг, и даже сам барон, хоть и сокрушался, что дочь уехала так далеко. Ее, статную и светловолосую, настоящую северную красавицу, заметил на ярмарке в Эстмарке пожилой купец, торговавший шелком и пряностями. Он был богат, очень богат — настолько, что мог себе позволить не обращать внимания на полное отсутствие приданого. Изель увезли на восток, в огромный портовый город, стоящий на берегу теплого моря, и она присылала оттуда редкие письма, полные осторожных, тщательно подобранных фраз, из которых явствовало, что муж суров, нравом крут, но дом богат, и она ни в чем не нуждается. Между строк читалось другое, но Лиана предпочитала не вчитываться.

А она сама, младшая, осталась. Та, которую не ждали и не планировали, та, что родилась слишком поздно, когда мать была уже слаба, а отец уже стар. Та, что своим появлением на свет невольно отняла жизнь у женщины, которую барон любил больше всего на свете, — и он, будучи человеком не

злым, но слабым, так до конца и не смог простить младшей дочери этой невольной вины. Он не попрекал ее, нет, никогда не говорил ни слова упрека, но Лиана с детства чувствовала в его взгляде ту особенную, горькую тень, которая появлялась всякий раз, когда он смотрел на нее слишком долго. Словно он видел в ее чертах отражение умершей жены и одновременно — причину ее смерти. Это было невыносимо и несправедливо, но Лиана давно перестала обижаться. Она поняла, что отец просто не умеет горевать иначе, и его молчаливое отчуждение — такая же дань памяти матери, как свечи, которые он зажигал каждую годовщину, или засохшие цветы, которые все еще лежали на подоконнике в бывшей спальне баронессы, нетронутые, покрытые пылью десятилетий.

Она привыкла к этой тихой, бедной, замкнутой жизни, но никогда не смирялась с ней. В глубине души, в том потаенном уголке, куда она сама боялась заглядывать слишком часто, Лиана мечтала о совершенно ином. О мире, который лежал за гребнями холмов, за густыми эшвудскими лесами, полными теней и шорохов, за долинами и реками, за перевалами и пустошами, — о мире, о котором она читала в потрепанных, пахнущих плесенью книгах, оставшихся от деда-алхимика. Книги эти, в тяжелых кожаных переплетах, с пожелтевшими страницами и выцветшими чернилами, были ее единственным окном в иную реальность. Она перечиты-

вала их снова и снова, знала наизусть описания городов, которых никогда не видела, — Аэльрина с его Тысячью Шпилей, о котором говорили, что на закате его башни вспыхивают золотом и алым, и кажется, будто сам город охвачен безмолвным, торжественным пожаром; Эстмарка, раскинувшегося на берегу теплого моря, с его разноязыкой толпой, с его базарами, где продают корицу и имбирь, шелк и жемчуг, с его гаванями, где теснятся корабли под чужеземными флагами, — белые паруса южан, полосатые — островитян, черные с золотом — загадочных купцов из-за восточного океана. Ей грезились дороги, убегające к горизонту, караванные тропы, горные перевалы, бескрайние степи, где ветер гуляет, не встречая преград. Ей хотелось простора. Хотелось дыхания свободы — того пьянящего, холодного, острого ощущения, когда перед тобой открывается даль и ты понимаешь, что можешь идти в любую сторону, и никто не скажет тебе «нельзя», никто не напомнит о долге, о приличиях, о том, что дочери барона не пристало мечтать о странствиях. Ей хотелось не золота и не титулов, не роскоши и не власти — ей хотелось просто жить, дышать полной грудью, видеть собственными глазами все то, о чем она читала долгими зимними вечерами, когда ветер завывал в трещинах старых стен, а свеча догорала, и приходилось шуриться, вглядываясь в пляшущие строчки. Но каждое утро она просыпалась все в той же холодной башне, в той же узкой постели под лоскутным одеялом, с тем же видом на те же самые холмы, и день тянулся за

днем, похожие друг на друга, как дождевые капли на мутном оконном стекле.

А потом началась война. Вернее, не так: война, конечно, шла уже давно, несколько лет, но до Эшвуда она не докатывалась, оставаясь чем-то далеким, почти нереальным, вроде тех легенд о драконах и героях, которые старый священник рассказывал детям в храме. Гром сражений не нарушал тишины эшвудских холмов, здесь не звенели мечи и не горели деревни, сюда не забредали дезертиры и не наведывались рекрутеры. Война шла где-то там, на востоке, в приграничных землях, и единственной ее приметой были редкие королевские указы, повышавшие налоги. Но потом все изменилось — резко, внезапно, как меняется погода в горах, когда солнечный полдень за минуту превращается в снежный буран. Война пришла в королевство Аэльрин не с мечом и огнем, а иначе — она легла на плечи людей невидимой, но страшной, удушающей тяжестью. Сначала поползли слухи, неясные и противоречивые, будто туман, поднимающийся от реки по утрам. Говорили, что король Дарион Третий нарушил древний договор с Повелителем Хрустальной горы — тот самый договор, которому было не то триста, не то пятьсот лет, и который все давно считали просто красивой легендой, сказкой для простонародья. Говорили, что король отказался платить дань, которую его предки посылали раз в тридцать лет, — дань, о которой никто толком ничего не знал, но о которой

шептались всякое. Потом стали говорить, что к горным перевалам стянуты королевские легионы и что сам король готовится к войне с драконом. Потом — что легионы разбиты в пух и прах в какой-то битве у Железного брода, о которой очевидцы рассказывали такое, что волосы вставали дыбом. И, наконец, пришло самое страшное, самое невероятное, самое чудовищное из всего: дракон, пробудившись от векового сна, начал опустошать восточные провинции, и пламя его было таково, что обращало в пепел целые города, а жар чувствовался за много лиг.

Лиана поначалу не верила. Вернее, не хотела верить — потому что принять правдивость этих слухов означало признать, что привычный, пусть и убогий, но все же понятный и предсказуемый мир рухнул окончательно и бесповоротно. Ей, выросшей на древних сказках и балладах о крылатых владыках неба, было трудно, почти невозможно представить дракона как реальную, осязаемую, дышащую огнем угрозу. В детстве старая нянька, еще крепкая старуха с удивительно звучным голосом, пела ей и сестрам баллады о великом драконе Аш-Шароне, живущем на Хрустальной горе, — о мудром и гордом создании, которое когда-то, в незапамятные времена, заключило с людьми союз. Люди принесли ему клятву верности, пообещали чтить его покой и раз в поколение присылать дар — а он, в свою очередь, обещал защищать их земли от северных кочевников, от диких племен,

приходивших из-за гор с огнем и железом. В песнях тех Аш-Шарон описывался существом прекрасным и ужасным одновременно: чешуя его блестела, как расплавленное серебро, и переливалась в лучах солнца тысячью оттенков; глаза, огромные, миндалевидные, сияли золотистым светом, и в глубине их таилась древняя, всеобъемлющая тоска, печаль существа, пережившего столетия и видевшего, как рождаются и умирают целые народы; крылья его, когда он расправлял их, заслоняли небо, и земля погружалась в сумрак. Договор соблюдался веками, и дракон не тревожил людей, а люди не смели ступить на земли Хрустальной горы, где среди вечных снегов и ледяных пиков стоял его дворец — вернее, так говорили легенды, потому что никто никогда этого дворца не видел и не мог сказать, существует ли он на самом деле или это лишь поэтический образ. Все изменилось, когда Дарион Третий, гордый и неразумный король, решил, что времена легенд прошли, что он не обязан кланяться какому-то мифическому ящеру, что королевство Аэльрин достаточно сильно, чтобы диктовать свою волю кому угодно, включая и древних чудовищ.

Он ошибался. И цена этой ошибки оказалась непомерно высока.

Через месяц после того, как первые беженцы принесли вести о падении восточных городов, в Эшвуд прибыл королев-

ский гонец. Это случилось на исходе серого, ветреного дня, когда солнце уже клонилось к закату и длинные тени от башен старого замка ложились на двор, расчерчивая его, как трещины — глиняный горшок. Лиана как раз помогала кухарке перебирать чечевицу — занятие скучное и монотонное, но успокаивающее, — когда со стены раздался крик дозорного. Крик был странный, срывающийся, в нем слышались не тревога даже, а какое-то почтительное изумление. Конь под гонцом был взмылен так, что пар валил от него столбом, и бока ходили ходуном, а сам всадник выглядел так, будто не спал несколько суток: глаза красные, воспаленные, лицо серое от пыли и усталости, плащ заляпан грязью, на сапогах — корка засохшей глины. Он, не слезая с седла, хриплым, надорванным голосом потребовал барона, и когда старый Олдрик, шаркая и опираясь на трость, вышел во двор, гонец протянул ему свиток, скрепленный малой королевской печатью — красный воск с оттиском вздыбленного единорога, герба правящей династии.

Указ зачитали на главной площади на следующее утро, собрав всех жителей, от мала до велика, — даже тех, кто жил на отдаленных хуторах и в обычные дни не часто баловал своим присутствием баронский двор. Глашатай, присланный из столицы, — толстый, багроволицый мужчина с зычным голосом, который, казалось, мог перекрыть и шум ярмарки, и рев бури, — взобрался на деревянный помост, сооруженный

на скорую руку, развернул пергамент и начал читать. Лиана стояла в толпе, зажатая между дояркой, от которой пахло парным молоком и немного — коровьим навозом, и кузнецом, огромным, мрачным мужчиной, чьи руки, покрытые шрамами от ожогов, были скрещены на груди, а лицо напоминало каменную маску. Она слушала, как хриплый, но четкий голос глашатая выкрикивает строки, от которых кровь стыла в жилах, — строки, казавшиеся порождением бреда, ночной кошмар, каким-то чудовищным образом обретший плоть и звук.

«Повелением Его Величества короля Дариона Третьего, владыки Аэльрина и Хранителя Семи Земель, дабы умиловить Владыку Хрустальной горы, великого дракона Аш-Шарона, и прекратить разорение земель аэльринских, всякое баронство, графство и герцогство, владеющее землями в пределах королевства, обязуется представить ко двору деву непорочную в возрасте от семнадцати до двадцати двух лет, каковая и будет избрана жребием для поднесения в дар дракону, согласно условиям Древнего договора, заключенного предками нашими. Срок исполнения — десять дней от сего числа. Ослушание карается лишением титула, земель и головы, ибо нет большего преступления пред короной и народом, нежели уклонение от долга в час, когда судьба королевства висит на волоске».

Толпа загудела — не сразу, а с задержкой в несколько секунд, словно люди не могли поверить в услышанное и переваривали смысл сказанного. А потом — лавина звуков: крики, плач, проклятия, молитвы, истеричный смех, чей-то визг. Кто-то заголосил в голос — мать, у которой было три дочери подходящего возраста. Кто-то принялся громко, нараспев молиться, призывая всех святых и древних богов, о которых в обычные дни никто и не вспоминал. Кто-то начал зло перешептываться, мол, король вовсе спятил, раз требует такого, что это не дань, а убийство, что дракону не нужны девушки, ему нужна власть, и он просто играет людьми, как кошка с мышью. Но никто не посмел возразить вслух, перечить, требовать объяснений — потому что следом за глашатаем на площадь въехал отряд королевских стражников в полном вооружении. Их было около дюжины — закованные в сталь, с закрытыми шлемами, из-под которых блестели только глаза, холодные и безжалостные, как у акул. Они спешили, и их капитан — высокий, сухой, с лицом, изрезанным шрамами, — коротко, не повышая голоса, объявил, что девушка должна быть доставлена в столицу немедленно, что барон ответит головой за любое промедление или попытку укрыть дочь, и что стражники останутся в Эшвуде до тех пор, пока жребий не свершится. С этими словами он воткнул в землю копье с королевским вымпелом, и алое полотнище с вышитым единорогом затрепетало на ветру, словно язык пламени.

Отец Лианы, барон Олдрик, три дня пролежал в постели, не в силах подняться. Он не спал и не бодрствовал — лежал, отвернувшись к стене, и то плакал, беззвучно вздрагивая плечами, то принимался бормотать что-то бессвязное, то вдруг замолкал надолго, уставившись в одну точку. Он проклинал короля, называя его безумцем, тираном, убийцей; потом проклинал дракона, древнее чудовище, которому вздумалось терзать людей спустя столько веков; потом проклинал свою судьбу, свою бедность, свою беспомощность, своих предков, проигравших состояние, — словом, всех и вся, кроме самого себя. Двоих дочерей он уже отдал чужим людям, и вот теперь последняя, самая младшая, его кровинушка, его маленькая Лиана, которую он, несмотря на ту давнюю, глухую обиду, любил, наверное, больше всех, — теперь и она должна была отправиться на верную, неминуемую смерть. Потому что никто в королевстве уже не сомневался: дань — это не честь, не служение, не священный долг, а замаскированная казнь. Ни одна из девушек, посланных прежде дракону, не вернулась обратно, и никто не знал, что с ними стало. Легенды гласили, что дракон пожирает их, — и это была самая страшная версия, потому что она была самой простой и, увы, самой правдоподобной. Другие шептались, что он забирает их в свою пещеру, где они умирают медленно — от ужаса, от тоски, от холода, от голода. Третьи и вовсе выдумывали дикие, сладострастные сказки о подземном га-

реме, где крылатый владыка держит своих наложниц, но от этих сказок становилось только страшнее, потому что неизвестность всегда страшнее самой ужасной правды.

Лиана не плакала. Когда отец наконец вышел из своей комнаты на четвертый день — бледный, осунувшийся, постаревший сразу на десять лет, с трясущимися руками и красными, запавшими глазами — и дрожащим голосом, запинаясь на каждом слове, сообщил, что завтра они должны выезжать в столицу, она лишь кивнула. Просто кивнула, коротко и сухо, и вышла из зала, не сказав ни слова. Внутри у нее все оборвалось разом, как лопается туго натянутая струна, — но звук этого разрыва был беззвучен, и никто, даже она сама, его не услышал. Она поднялась в свою каморку, расположенную в северной башне, самой старой и самой ветхой части замка, села на край узкой кровати, застеленной лоскутным одеялом — тем самым, что мать сшила перед ее рождением, предчувствуя, быть может, что не увидит дочь взрослой, — и долго, очень долго смотрела на свои руки.

На правой ладони у нее был маленький шрам в форме полумесяца — след от старого ожога, полученного в детстве, когда она, еще совсем крохой, случайно схватилась за раскаленную сковороду на кухне. Нянька тогда ахнула, кухарка побледнела, а маленькая Лиана, говорят, даже не заплакала — только зашипела сквозь зубы и прижала обожженную ла-

донь к груди. Сейчас, глядя на этот старый, побледневший от времени шрам, она вдруг подумала — ясно и отчетливо, словно кто-то произнес эти слова вслух, — что он похож на символ. На веху, отделяющую одну жизнь от другой. Тогда, в детстве, она еще не понимала, что такое боль, и схватилась за горячее железо из чистого, незамутненного любопытства, из желания узнать, каков мир на ощупь. Сейчас мир сам протянул к ней свою раскаленную длань, и ей предстояло узнать, какова на вкус взрослая, настоящая, непоправимая боль. «До» и «после», — подумала она и провела пальцем по шраму. — «Все, что было до этого дня, — одна жизнь. Все, что начнется завтра, — совсем другая. И никто не знает, будет ли у этой новой жизни продолжение».

Она попыталась представить себе Хрустальную гору. Попыталась вообразить дракона — не такого, как в песнях и на старых гобеленах, а живого, настоящего, дышащего огнем. Попыталась представить себе свою смерть. Но воображение отказывало. Мысль о смерти была слишком огромной, слишком непостижимой, чтобы уместиться в голове девятнадцатилетней девушки, которая еще вчера перебирала чечевицу и мечтала о далеких городах. Смерть была абстракцией, математической формулой, которую невозможно приложить к себе. Лиана знала, что умрет, — но не чувствовала этого, не верила до конца, и эта неспособность поверить, как ни странно, придавала ей сил. Пока ты не веришь в свою смерть,

ты жив — это она поняла еще тогда, в детстве, когда старая нянька рассказывала о святых мучениках, которые шли на костер с улыбкой. «Они не верили, что умрут, — думала Лиана. — Они верили, что родятся заново. А я... я, наверное, просто еще не научилась бояться по-настоящему».

Наутро они отправились в путь. Старая отцовская карета, выдавшая виды еще при прошлом столетии, с облупившимся лаком на дверцах и продавленными сиденьями, была запряжена парой лошадей — таких же старых и усталых, как и все в этом замке. Карета скрипела и раскачивалась на ухабах проселочной дороги, и Лиана, сидя внутри, смотрела в маленькое окошко, забранное мутным, поцарапанным стеклом. Позади медленно, словно нехотя, отступали серые стены замка, покосившиеся ворота с проржавевшими петлями, старое грушевое дерево во дворе, посаженное еще прадедом в честь рождения первенца. Она смотрела, пока знакомые очертания не превратились в смутную полосу на горизонте, пока отчий дом не стал всего лишь точкой, а потом и вовсе не исчез, растворившись в утренней дымке. И странное, непривычное спокойствие снизошло на нее — не холодное безразличие и не отчаяние, а именно спокойствие, похожее на то, какое испытывает пловец, который долго боролся с течением, а потом вдруг перестал бороться и отдался на волю волн. Прощание с домом не принесло слез — может быть, потому, что она никогда по-настоящему и не считала Эшвуд своим

гнездом. Она всегда знала, что уйдет отсюда, всегда мечтала об этом, грезила дорогами и горизонтами. Не думала только, что уйдет так — в карете под конвоем королевских стражников, с белым платком невесты-жертвы в узелке, под равнодушными взглядами крестьян, вышедших поглазеть на отъезд барской дочки. «Будьте осторожны в своих желаниях, — усмехнулась она про себя, — они имеют свойство сбываться самым неожиданным образом».

Столица оглушила ее. Аэльрин, Город Тысячи Шпилей, о котором она столько читала и грезила, оказался одновременно и похожим, и совершенно не похожим на свои описания. Он раскинулся на берегах широкой, величественной реки, чьи воды в этот час, на закате, отливали расплавленной медью. Башни его, бесчисленные, уходящие в небо, действительно вспыхивали золотом и алым, и в этом свете город казался объатым безмолвным, торжественным пожаром. Но великолепие это было обманчивым, почти театральным — за ним угадывалась какая-то страшная, надрывная изнанка. На улицах царил страх. Он чувствовался во всем: в том, как спешили прохожие, не глядя по сторонам; в том, как захлопывались ставни на окнах едва ли не раньше захода солнца; в том, как патрули стражников — не парадные, в начищенных кирасах, а настоящие, боевые, с алебардами и арбалетами — маршировали по мостовым, грохоча сапогами. Повсюду виднелись следы поспешных приготовлений к осаде, хотя никто

толком не знал, можно ли вообще осадить город от драконьего пламени. Штабеля бревен громоздились вдоль стен, мешки с песком загораживали арки ворот, на перекрестках стояли передвижные кузни, где день и ночь ковали наконечники для стрел и болтов. В воздухе висел запах гари — не лесного пожара, а чего-то другого, химического, резкого, смешанного с запахом раскаленного металла. Говорили, что королевские маги денно и нощно работают над каким-то секретным оружием, способным если не убить дракона, то хотя бы отпугнуть его от столицы.

Королевский дворец, огромный и помпезный, с золочеными куполами и мраморными колоннадами, с фонтанами, извергавшими хрустальные струи, и статуями древних героев, стоящих в нишах, — этот дворец, бывший когда-то символом могущества и богатства аэльтринских королей, теперь казался Лиане каким-то мавзолеем. Слишком большим, слишком холодным, слишком пустым. Внутри, в бесконечных анфиладах залов и коридоров, пахло сыростью и старым воском, и эхо шагов гулко разносилось под высокими сводчатыми потолками, словно в склепе. Их с отцом провели длинным, извилистым маршрутом — мимо гобеленов, изображавших славные битвы прошлого, мимо доспехов, стоящих на постаментах, как безмолвные стражи, мимо закрытых дверей, за которыми угадывалась какая-то тайная, лихорадочная деятельность, — и наконец ввели в огромный зал,

где уже ждали другие.

Десятки девушек стояли вдоль стен, сбившись в испуганные, молчаливые стайки. Здесь были дочери богатых лордов в дорогих платьях, расшитых жемчугом и серебряной нитью, с изящными прическами, которые уже растрепались, и лицами, искаженными с трудом сдерживаемым ужасом. Здесь были дочери рыцарей, одетые скромнее, но все же добротно, с гордой осанкой, которую они пытались сохранить из последних сил. И здесь же были крестьянки, привезенные из отдаленных деревень, — босые или в грубых башмаках, в простых холщовых платьях, с обветренными, красными от слез лицами. Всех их объединяло одно: белый налобный платок, который каждой выдали при входе, — знак чистоты и одновременно знак жертвы, символ, равно отсылающий и к свадебному убору, и к погребальному савану. Лиана приняла свой платок из рук седого, сгорбленного жреца, чьи пальцы, узловатые и холодные, коснулись ее ладони, и повязала его вокруг головы, чувствуя, как грубая, неотбеленная ткань царапает лоб. Она поискала глазами отца — барон стоял у дальней колонны, сгорбленный, с лицом серым, как пепел, и в глазах его стояла такая мука, что Лиана поспешно отверла взгляд. Ей хотелось подойти к нему, обнять на прощание, сказать что-нибудь — она не знала, что именно, но что-нибудь важное, последнее, — но в этот самый момент грохнули барабаны, и в зал вошел король.

Дарион Третий оказался совсем не таким, каким она его представляла. На старых монетах и парадных портретах он изображался статным, широкоплечим мужем с властным лицом и гордой осанкой. Действительность же явила ей невысокого, преждевременно облысевшего человека с воспаленными, бегающими глазами, одетого в слишком тяжелый для его сутулых плеч парадный кафтан, расшитый золотом. Он двигался дергано, словно в лихорадке, постоянно оглядываясь через плечо, будто ждал, что кто-то ударит его в спину. Лиана сразу поняла — не умом даже, а каким-то древним, интуитивным знанием, которое, наверное, свойственно всем живым существам перед лицом опасности, — что этот человек сломлен. Сломлен окончательно и бесповоротно. Он не спит ночами, вздрагивает от каждого громкого звука, видит в каждом углу тень драконьих крыльев. Он готов на все — на любую подлость, на любую жертву, на любое предательство, — лишь бы спасти свою шкуру, лишь бы отодвинуть неизбежное хоть на день, хоть на час. Об этом красноречиво говорил его бегающий взгляд, нервная гримаса, застывшая на тонких, почти женских губах, и пальцы, которые ни на секунду не оставались в покое — теребили край кафтана, оглаживали рукоять церемониального кинжала, перебирали золотую цепь.

Позади короля шествовала вереница сановников — канц-

лер, военный министр, хранитель печати, — все с одинаковыми, застывшими, как маски, выражениями лиц. А за ними — верховный маг в алом плаще с золотым шитьем, высокий старик с длинной седой бородой, в которой запутались серебряные бубенчики, тихо позвякивающие при каждом шаге. Именно маг должен был провести жребий — так объявил церемониймейстер, сухонький человечек с жезлом, увенчанным хрустальным шаром. Голос его, высокий и надтреснутый, разнесся под сводами зала, призывая всех ко вниманию.

Посреди зала, на возвышении, установили огромный серебряный сосуд, похожий на чашу для омовений, — но только очень древнюю, почерневшую от времени, покрытую замысловатой чеканкой, изображавшей драконов, сплетенных в кольца. В сосуд опустили свитки с именами — по одному от каждого дома, от каждого феода, представленного здесь. Лиана видела, как дрожат руки у девушек, стоящих рядом, как одна из них, совсем юная, почти девочка, тихо плачет, уткнувшись в плечо старшей спутницы. Она слышала, как колотится чье-то сердце — гулко, часто, испуганно — и не сразу поняла, что это стучит ее собственное. Маг воздел руки к сводам зала, запрокинул голову, и с губ его сорвались слова на древнем языке — гортанные, рокочущие, похожие на отзвук далекой грозы. Над чашей вспыхнул призрачный голубоватый огонек, маленький, дрожащий, как пламя свечи на сквозняке. Толпа ахнула и затихла. Огонек закружил-

ся внутри сосуда, заметался, словно пойманная птица, бьющаяся о невидимые стенки. Он подлетал то к одному краю чаши, то к другому, то взмывал вверх, то падал вниз, и сотни глаз следили за ним, затаив дыхание. А затем он вырвался из сосуда и устремился прямо в толпу девушек.

Он пролетел мимо дочери герцога Арендейла, чье платье стоило, наверное, больше, чем все эшвудские земли вместе взятые. Мимо хорошенькой рыжеволосой крестьянки, чье лицо, усыпанное веснушками, побелело от ужаса. Мимо бледной девицы в жемчужном ожерелье, которая, казалось, вот-вот лишится чувств. И остановился — замер, повис в воздухе — прямо перед Лианой. Огонек был так близко, что она чувствовала исходящее от него тепло, легкое, как дыхание, и видела свое отражение в его трепещущей сердцевине. На мгновение он замер, будто всматриваясь в нее, изучая, принимая решение, а потом мягко, почти нежно опустился на ее лоб, туда, где край белого платка касался кожи, и растаял, оставив лишь слабое, быстро угасшее покалывание.

В зале повисла тишина. Такая тишина, какой Лиана никогда в жизни не слышала и, наверное, уже никогда не услышит, — абсолютная, глубокая, почти физически ощутимая, как толща воды, сомкнувшаяся над головой. В этой тишине гулко и сиротливо, как одинокий колокол в заброшенном храме, прозвучал ее собственный судорожный вздох. А по-

том — взрыв. Грохот голосов, крики, плач, чей-то истеричный, захлебывающийся смех, гулкие удары барабанов, возвещающие свершение жребия. Ее толкали, хватали за руки, куда-то вели, оттесняя от отца. Она обернулась — один только раз, через плечо — и успела увидеть лицо старого барона: белое как мел, с расширенными от ужаса глазами, с беззвучно открывающимся ртом. Он рванулся к ней, расталкивая толпу, но двое стражников скрестили алебарды перед его грудью, и капитан, тот самый, со шрамами, коротко бросил: «Не положено». Больше она отца не видела. Его оттеснили, затолкали, увели — или он сам ушел, поникший, раздавленный, — этого Лиана уже не знала. Она только слышала, как где-то далеко, за спиной, затихает его голос, выкрикивающий ее имя.

Все последующее слилось в один мутный, лихорадочный сон, в котором явь мешалась с бредом, а минуты растягивались в часы. Ее отвели в отдельные покои, расположенные где-то в глубине дворца, — маленькую, но богато убранную комнату с кроватью под балдахином и гобеленом на стене, изображавшим какую-то древнюю сцену: дева в белом стоит на скале, а с небес к ней спускается дракон. Увидев этот гобелен, Лиана едва не рассмеялась — настолько все это было нелепо, театрально, будто кто-то специально подбирал декорации к ее последним часам. Ее одели в белое платье из тонкого, почти прозрачного льна — слишком легкого для холод-

ных сквозняков, гуляющих по дворцовым переходам, но, видимо, соответствующего ритуалу. Волосы распустили, и они тяжелой волной легли на плечи, умастили их каким-то душистым маслом, пахнущим лилиями и еще чем-то терпким, незнакомым. Жрицы — три старухи в серых балахонах, с лицами, скрытыми капюшонами, — что-то пели, монотонно и заунывно, на том же древнем языке, на котором говорил маг. Их голоса походили на погребальный хор, и мелодия, бесконечно повторяющаяся, лилась и лилась, как вода, точащая камень. Ей не давали ни есть, ни пить — только несколько раз подносили к губам чашу с водой, в которой был растворен какой-то травяной настой, горьковатый и пахучий. После каждого глотка мысли становились вялыми и медленными, страхи отступали, и все происходящее начинало казаться нереальным, как сон. Лиана понимала, что ее опаивают — не для того, чтобы усыпить, а для того, чтобы сделать податливой, послушной, лишить воли, — и боролась с этим одурманивающим туманом как могла, цепляясь за ускользающие мысли, повторяя про себя свое имя, перечень эшвудских холмов, строки старых баллад — все, что могло удерживать ее на грани сознания.

На рассвете третьего дня — хотя Лиана сбилась со счета и не могла бы сказать точно, сколько времени прошло, — за ней пришли. Чьи-то руки — она не видела лиц, только серые силуэты — подняли ее с постели, поправили складки

платья и повели, почти понесли длинными, извилистыми коридорами. Дворец был пуст и гулок, шаги отдавались эхом, факелы на стенах чадили, и дым стелился под потолком сизыми полосами. Наконец тяжелые двери распахнулись, и в лицо ударил холодный, чистый, невероятно свежий воздух. Внутренний двор, огромный, мощный серым камнем, был полон людей — придворные, стража, маги, жрецы. Все стояли вдоль стен, оставляя середину двора пустой, и эта пустота, этот круг света под бледнеющим небом, казалась ареной. Лиану подвели к центру круга и оставили одну.

Небо на востоке только начинало светлеть, окрашиваясь нежными персиковыми тонами, переходящими выше в бледную бирюзу, а в самом зените — в густой, темный ультрамарин, в котором еще мерцали последние, самые яркие звезды. Было очень холодно — тот особенный, пронизывающий холод предрассветного часа, когда мир замирает на пороге между ночью и днем. Лиана стояла посреди каменной площадки, и утренний ветер, прилетевший откуда-то с гор, играл подолом ее белого платья, заставляя легкую ткань трепетать и обвиваться вокруг ног. Она смотрела на толпу — на эти бледные лица, на эти глаза, устремленные на нее с тем же выражением, какое бывает у людей, пришедших поглазеть на казнь. Смесь любопытства, ужаса и — она видела это отчетливо, ясно, как на ладони — стыдного, запятого глубоко, но все же прорывающегося наружу облегчения. Облегче-

ния от того, что жребий пал не на их дочь, не на их сестру, не на них самих. Она была жертвой, и они были благодарны ей за это — и ненавидели ее за эту благодарность. Ей было холодно, но она не дрожала. Страх притупился, уступив место странной, сомнамбулической отрешенности, — то ли зелье жриц наконец возымело полное действие, то ли душа, устав бояться, просто закрылась, как закрываются створки раковины перед угрозой.

А потом она услышала звук. Сначала — далекий, почти неуловимый, похожий на шум далекого водопада или на гул ветра в горном ущелье. Потом — ближе, громче, отчетливее. Ритмичный, тяжелый, рассекающий воздух звук, который не спутать было ни с чем, — звук работающих крыльев, огромных, невообразимо мощных, вспарывающих небесную твердь. Люди закричали — кто-то в ужасе, кто-то в благоговении, кто-то просто потому, что молчать перед лицом такого явления было невозможно. Кто-то упал на колени, закрывая голову руками. Маги забормотали заклинания, и воздух вокруг них замерцал защитными пологам. Стража вскинула копья, но это был жест чисто рефлекторный, бессмысленный, — что может сделать копье против существа, способного плавить камень? Лиана подняла глаза — медленно, словно преодолевая сопротивление воды.

Из-за гор, с той стороны, где в серой предрассветной дым-

ке угадывались острые, зазубренные, как зубы хищника, пики Хрустальной гряды, летел дракон. Он был огромен. Слово «огромен» не передавало и сотой доли того, что она видела. Он был колоссален, невероятен, немыслим — живая гора, обретшая крылья, существо такой величины, что разум отказывался воспринимать его целиком, выхватывая лишь отдельные детали: сверкающую чешую, переливающуюся в лучах восходящего солнца мириадами серебряных и перламутровых искр; мощные крылья, каждое из которых было размером с корабельный парус, а то и больше; длинный, утончающийся к концу хвост, который стелился позади, описывая в воздухе плавные, завораживающие изгибы. Он летел стремительно и в то же время плавно, словно само небо несло его на своих исполинских ладонях, и в этом полете было что-то от музыки — ритм, гармония, совершенная, безупречная координация движений. Солнце, выглянувшее из-за горизонта, вспыхнуло на гребне, венчающем его голову, и гребень этот засиял, как корона из расплавленного металла.

Дракон описал круг над дворцом, один, другой — широкий, величественный, — и от тени его крыльев на земле стало темно, будто в сумерках. Затем он начал снижаться. Неотвратимо, как падающая звезда, как лавина, как сама судьба, которую невозможно обмануть или отсрочить. Лиана смотрела на него, запрокинув голову, и не могла — не хотела — отвести взгляд. В ней боролись два чувства, равные по силе

и совершенно противоположные по сути. С одной стороны — дикий, животный, первобытный ужас, от которого подкашивались ноги, а сердце колотилось где-то в горле, — ужас, заставляющий бежать, прятаться, забиваться в щели. С другой — совершенно невозможное, ошеломляющее, парализующее восхищение, какое бывает при виде грозы в открытом море, при виде горной лавины, при виде водопада, низвергающегося в бездну. Он был прекрасен. Прекрасен той особенной, запредельной, почти невыносимой красотой, какой может быть прекрасен только смертельный клинок, штормовое море или пламя, пожирающее лес, — красотой абсолютной, беспощадной, не терпящей компромиссов и полутонов, не нуждающейся в зрителе и не заботящейся о его чувствах.

Дракон приземлился на каменные плиты двора, и земля содрогнулась — не мягко, не плавно, а жестко, грубо, так что Лиана пошатнулась, а многие из стоявших вдоль стен попадали на колени. Каменная крошка и пыль брызнули из-под когтей, огромных, загнутых, похожих на серпы, — каждый коготь был длиной, наверное, с ее предплечье, и цвет имел темный, отливающий вороненой сталью. Он сложил крылья — не резко, но и не медленно, а с той точной, скупой грацией, с какой хищная птица складывает крылья, садясь на насест, — и они легли вдоль его боков, подобно гигантскому, отливающему серебром плащу. Голова на длинной, необычайно изящной для такой туши шее повернулась к толпе, и

Лиана наконец увидела его глаза.

Они были огромны — гораздо больше, чем она могла себе вообразить, глядя на старые изображения. Миндалевидные, чуть раскосые к вискам, они сияли собственным, внутренним светом — золотисто-янтарным, с переливами более темных, почти коричневых оттенков у самого зрачка. Вертикальный зрачок, как у исполинского кота, то сужался в тонкую нить, то расширялся, заполняя почти всю радужку, и в движениях этих читалась какая-то своя, непонятная людям логика. В этих глазах горел древний, нечеловеческий разум — разум, который видел, как рождались и умирали империи, как сходили с исторической сцены целые народы, как менялись очертания берегов и русла рек. И в глубине этого разума таилось что-то, чему Лиана не могла подобрать названия. Не ярость, не голод, не жестокость — скорее, горькое, усталое, почти брезгливое презрение ко всем этим крошечным, суежливым существам, застывшим перед ним в благоговейном ужасе. Он смотрел на них, как взрослый смотрит на детей, затеявших глупую и опасную игру, — без гнева, но и без тени сочувствия.

От группы магов отделился верховный чародей. Он вышел вперед, низко — слишком низко, почти подобострастно — поклонился и произнес ритуальную фразу на древнем языке. Фраза была длинной, витиеватой, певучей; слова, гор-

таннные и шипящие, лились и перекатывались, как вода по камням. Лиана не понимала ни слова, но разобрала свое имя, произнесенное с особым, почтительным нажимом. Дракон слушал — неподвижно, не шевелясь, лишь веки его, тяжелые, покрытые мелкой чешуей, чуть дрогнули. Затем он перевел взгляд — медленно, плавно — на нее, на одну-единственную фигурку в белом посреди огромного пустого круга. И Лиана почувствовала этот взгляд почти физически, как прикосновение — не грубое, но настойчивое, проникающее. Ей показалось, что он пронзил ее насквозь, до самого дна души, до тех потаенных глубин, о которых она и сама не подозревала, до детских страхов и девичьих грез, до старого шрама на ладони и баллад, спетых нянькой. Прошла секунда, другая — бесконечные, как вечность, — и дракон шагнул к ней. Мягко, почти неслышно для такой невообразимой громады, он преодолел разделявшее их расстояние в несколько десятков шагов, и его голова оказалась так близко, что Лиана могла бы сосчитать каждую чешуйку на его переносице, если бы была в состоянии считать.

Лиана хотела попятиться — ноги не слушались, они словно приросли к камню. Она хотела зажмуриться — веки не опускались. Она стояла, вцепившись побелевшими пальцами в складки платья, и смотрела, как приближается громадная, покрытая серебристой чешуей морда. Из ноздрей дракона — широких, прорезанных в броне чешуи, как щели бой-

ниц, — вырывались струйки пара, легкие, почти прозрачные, и воздух вокруг сделался теплым, даже жарким, пахнущим чем-то странным, пряным, древним, — этот запах напомнил ей одновременно грозовой озон, сухие травы, раскаленный на солнце камень и еще что-то, чему она не знала названия, что-то металлическое и одновременно живое. Дракон склонил голову набок — точно как большая птица, разглядывающая незнакомый предмет, — и издал низкий, вибрирующий звук, который прошел сквозь все ее тело, заставив вибрировать кости и зубы, похожий не то на мурлыканье, не то на далекий, утробный раскат грома. И тогда Лиана, повинуясь порыву, которого сама не поняла и не смогла бы объяснить, даже если бы ее попросили, сделала то, чего никто — никто из стоявших во дворе, включая короля, включая верховного мага, включая самого дракона — не ожидал. Она не закричала. Не бросилась бежать. Не упала в обморок. Она подняла руку.

Толпа позади ахнула и затихла — так тихо, что слышно было, как потрескивают факелы на стенах. Дракон замер. Его зрачки сузились, превратившись в тончайшие вертикальные щели, а радужка вокруг них, казалось, засветилась ярче, полыхнула жидким золотом. Лиана, сама не веря в то, что делает, — словно наблюдая за собой со стороны, словно ее тело двигалось отдельно от ее разума, — протянула ладонь к его морде. Медленно, очень медленно, как протягивают руку

к незнакомой, возможно, опасной собаке — но с той разницей, что эта «собака» могла испепелить ее одним выдохом, обратить в горстку пепла, даже не заметив. Она не знала, зачем это делает. Может быть, потому что терять уже все равно было нечего — смерть стояла перед ней, дышала в лицо горячим, пряным дыханием, и разницы между «умереть сейчас» и «умереть через минуту» уже не существовало. Может быть, потому что где-то в самой глубине сознания — в том уголке, который не затрагивают ни страх, ни зелья, ни чужие приказы, — билась шальная, гордая, отчаянная мысль: если уж умирать, то не униженной, сломленной, рыдающей жертвой, а человеком, который до последнего мгновения сохранил волю. Который не покорился. Который сам сделал шаг навстречу.

Ее пальцы коснулись чешуи. Та оказалась не холодной и скользкой, как она ожидала, — почему-то она представляла чешую дракона похожей на рыбу или змеиную, — а теплой, почти горячей, и на удивление гладкой, как отполированный веками морской волной камень. Каждая чешуйка была отдельным, самостоятельным щитком, чуть выпуклым, переливающимся из серебристого в жемчужный, а по краям — в едва заметный лиловый оттенок. Дракон не шелохнулся. Его глаз, оказавшийся так близко, что Лиана видела в нем собственное отражение — крошечную белую фигурку с распущенными волосами, парящую в золотистом сия-

нии, — смотрел на нее с новым, незнакомым выражением. Не презрительным и не голодным, не равнодушным и не любопытным. Скорее — задумчивым, изучающим, оценивающим. Так смотрит мастер на незнакомый материал, прикидывая, что из него может получиться. Так смотрит ученый на неожиданный результат эксперимента. Так прошло несколько бесконечных, невесомых, выпавших из времени секунд. Затем дракон медленно, почти торжественно прикрыл веки и снова открыл их. Громовое, вибрирующее мурлыканье, похожее на звук далекого органа, стало громче, и в нем Лиане послышалась — или почудилась? — какая-то новая нота, не угрожающая, а, скорее, утвердительная.

В следующее мгновение все переменялось — резко, стремительно, без перехода. Огромная когтистая лапа — та самая, что дробила камень при приземлении, — сомкнулась вокруг ее талии. Не грубо, не больно, но крепко, неотвратимо, как стальной обруч. Земля ушла из-под ног с той внезапной, головокружительной легкостью, какая бывает во сне, когда падаешь в пропасть. Крылья распахнулись — она услышала этот звук, похожий на хлопок корабельного паруса, поймавшего ветер, только многократно усиленный, — и закрыли небо. Могучим, неудержимым рывком дракон оторвался от земли, и каменные плиты двора, толпа, дворец, башни — все это рухнуло вниз и осталось где-то далеко, стремительно уменьшаясь, превращаясь в игрушечный ма-

кет, в картинку из детской книжки. Крики толпы — испуганные, восторженные, истеричные — донеслись снизу приглушенным хором и быстро растаяли, поглощенные ветром. В лицо ударил ледяной, обжигающий поток воздуха, перехватило дыхание, на глазах выступили слезы — и она не сразу поняла, слезы ли это ветра или ее собственные.

Лиана видела, как стремительно уменьшается королевский дворец — еще минуту назад огромный, подавляющий, а теперь жалкий, как детская постройка из песка. Видела, как съеживаются башни и шпили, как расползаются в стороны городские кварталы, как серебряной нитью блестит река, изгибаясь среди холмов. Видела, как расступаются горы, открывая бескрайнюю, залитую утренним солнцем даль, — ковер лесов, прорезанный светлыми полосами дорог, синие пятна озер, туманные долины, из которых поднимались дымы далеких деревень. Она летела. Летела в когтях чудовища, которому ее отдали как дань, как жертву, как разменную монету в игре королей и магов. Летела навстречу неизвестности — возможно, навстречу смерти, возможно, навстречу чему-то худшему, чем смерть. Но где-то там, за страхом, за холодом, за бешеным стуком сердца, зарождалось и росло странное, неуместное, почти неприличное чувство — то самое, о котором она так долго мечтала в своей холодной башне среди эшвудских холмов. Чувство простора. Чувство полета. Чувство освобождения от всего — от долгов, от ти-

тулов, от условностей, от страха перед будущим, от тоски по несбывшемуся. Впереди, заслоняя полнеба, возвышалась Хрустальная гора — сияющая, неприступная, увенчанная вечными снегами, пронзающая облака острыми пиками, о которые, казалось, можно порезаться взглядом. Где-то там, в ее недрах, среди льда и камня, среди пещер и пропастей, должна была закончиться ее история — или начаться заново. И Лиана, зажмурившись от ветра и нестерпимого, ослепительного света, вдруг подумала о том, что никогда прежде — никогда за все свои девятнадцать лет — не ощущала такой пугающей, такой головокружительной, такой абсолютной, пьянящей, наполняющей каждую клеточку тела свободы. Свободы, у которой были когти, крылья и золотые глаза.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.